

Максим Горький

О войне и революции



Максим Алексеевич Горький

О войне и революции

Серия «Заметки из дневника.
Воспоминания», книга 18

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=640565

Аннотация

«Московский извозчик: шерстяная безглазая рожа; лошадь у него – помесь верблюда и овцы. На голове извозчика мятая, рваная шапка, синий кафтан под мышками тоже разорван, из дыры валяного сапога высунулся – дразнит – грязный кусок онучи. Можно думать, что человек этот украсил себя лохмотьями нарочито, напоказ:

„Глядите, до чего я есть бедный!“»

Максим Горький

О войне и революции

Московский извозчик: шерстяная безглазая рожа; лошадь у него – помесь верблюда и овцы. На голове извозчика мятая, рваная шапка, синий кафтан под мышками тоже разорван, из дыры валяного сапога высунулся – дразнит – грязный кусок онучи. Можно думать, что человек этот украсил себя лохмотьями нарочито, напоказ:

«Глядите, до чего я есть бедный!»

Он сидит на козлах боком, крестится на все церкви и ленивенько рассказывает о дороговизне жизни, не жалуется, а просто рассказывает сиповатым голосом.

Спрашиваю его: что он думает о войне?

– Нам – что думать? Царь воюет, ему и думать.

– Газеты – читаете?

– Мы – не читающие. Иной раз в чайной послушаешь: отступили, наступили. Газета – что? У нас в деревне мужик один врёт много, так его зовут – Газета.

Он чешет кнутовищем под мышкой и спрашивает:

– Бьёт нас немец?

– Бьёт.

– А у кого народу больше: у нас али у него?

– У нас.

Помахивая кнутом над шершавым крупом лошади, он философски спокойно говорит:

– Вот видишь: в воде масло не тонет...

Парикмахер, брея зелёного таможенного чиновника, уверенно говорит:

– Ко-онечно, немцы вздуют нас, они нас всегда били...

Чиновник возражает: нет, били и мы их, например – при императрице Елизавете нами даже Берлин был взят.

– Не слышал, – говорит парикмахер. – Хоша сам – солдат, но про этот случай – не слышал!

И – догадывается:

– Может, это для утешения нашего выдуманно, чтобы дух поднять?

А в прошлом году, после объявления войны, этот парикмахер рассказывал мне, как он стоял на коленях перед Зимним дворцом и, обливаясь слезами, пел «Боже царя храни».

– Душа пела в этот час великой радости...

В саду, против Народного дома, группа разнообразных людей слушает бойкую речь маленького солдата. Голова его забинтована, светлые глазки вдохновенно блестят, он хватается людей руками, заботясь,

чтоб его слушали внимательно, и высоким тенорком сеет слова:

– Фактически – мы, конечно, сильнее, а во всём остальном нам против них – не устоять! Немец воюет с расчётом, он солдата бережно тратит, а у нас – ура! И вали в котёл всю крупу сразу...

Большой, крепкий мужик, в рваной поддёвке, говорит веско и басовито:

– У нас, слава богу, людей даже девать некуда; у нас другой расчёт: сделать так, чтоб просторнее жилось.

Сказал и смачно зевнул. Хотелось бы слышать в его словах иронию, но – лицо у него каменное, глаза спокойно-сонны. Серенький, мятый человечек вторит ему:

– Верно! Для того и война: или землю чужую захватить, или народу убавить.

А солдат продолжает:

– К тому же сделана ошибка: отдали Польшу полякам, они и разбежались, те – к ним, эти – к нам, ну и путаются: своему своего неохота бить...

Большой мужик убеждённо и спокойно говорит:

– Заставят – будут! Было бы кому заставить, а бить – будут. Народ драться любит...

И вообще об этой гнусной, позорной бойне «обыва-

тели» говорят как о событии совершенно чуждом им, говорят, как зрители, часто даже со злорадством, но – я не понимаю: куда, на кого направлено это злорадство? Вовсе не заметно, чтоб критика «власти» усиливалась и отрицательное отношение к ней росло. Развивается отвратительный, мещанский анархизм.

Сопоставляя его с мнениями рабочих, ясно видишь, насколько неизмеримо выше развито у последних понимание трагизма событий и даже чувство «государственности» или, точнее, человечности. Это заметно даже у «неорганизованных», не говоря уже о партийцах, как, например, П. А. Скороходов. На днях он рассуждал:

– Как класс – мы от военного погрома выиграем, и это, конечно, главное. А всё-таки душа – болит! Стыдно, что воюем. И так жалко народ – сказать не могу. Ведь подумайте, гибнут самые здоровые люди, а им завтра работать. Революция потребует себе самых здоровых... Хватит ли нас?

Хорошо понимает значение культуры:

– Это глупо – говорить, что культура буржуазна и мне вредна. Культура – наша, законное наше дело и наследство. Мы сами разберём, что лишнее и вредное, сами и отбросим. Сначала надо поглядеть, что чего стоит. Кроме нас, никто не смеет распоряжаться. Недавно у нас, на Сампсониевском, один мил друг ча-

са полтора культуру уничтожал, я думал: человек этот хочет доказать мне, что лапоть лучше сапога. Учителя, тоже! Уши рвать надо таким...

Профессор З., бактериолог, рассказал мне:

– Однажды, в присутствии генерала Б., я сказал, что хорошо бы иметь обезьян для некоторых моих опытов. Генерал серьёзно спросил:

– «А – жида не годятся? Тут у меня жида есть, шпионы, я их всё равно повешу, берите жидов!»

– И, не дожидаясь моего ответа, он послал офицера узнать: сколько имеется шпионов, обречённых на виселицу? Я стал доказывать его превосходительству, что для моих опытов люди не годятся, но он, не понимая меня, говорил, вытаращив глаза:

– «Но ведь люди всё-таки умнее обезьян; ведь если вы вспрыснете человеку какой-нибудь яд, он вам скажет, что чувствует, а обезьяна – не скажет!»

– Возвратился офицер и доложил, что среди арестованных по подозрению в шпионаже нет ни одного еврея, все цыгане и румыны.

– «И цыгане – не годятся? – спросил генерал. – Жаль!..»

Вспоминая о евреях, чувствуешь себя опозоренным.

Хотя лично я, за всю жизнь мою, вероятно, не сделал ничего плохого людям этой изумительно стойкой расы, а всё-таки при встрече с евреем тотчас вспоминаешь о племенном родстве своём с изуверской сектой антисемитов и – о своей ответственности за антиизм соплеменников.

Я честно и внимательно прочитал кучу книг, которые пытаются обосновать юдофобство. Это очень тяжёлая и даже отвратительная обязанность – читать книги, написанные с определённо грязной целью: опорочить народ, целый народ! Изумительная задача. В этих книгах я ничего не нашёл, кроме моральной безграмотности, злого визга, звериного рычания и завистливого скрежета зубов. Так вооружась, можно доказывать, что славяне да и все другие народы тоже неисправимо порочны.

А не потому ли ненавидят евреев, что они, среди других племён мешанной крови, являются племенем, которое – сравнительно – наиболее сохранило чистоту лица и духа? Не больше ли «Человека» в семите, чем в антисемите?

Постыдному делу распространения антисемитизма в массах весьма сильно способствуют сочинители и рассказчики «еврейских» анекдотов.

Странно, что среди них нередко встречаешь евре-

ев. Может быть, некоторые из них хотят показать, как хорош печальный юмор еврейства... и этим надеются возбудить симпатию к своему народу у врагов его? Может быть, другие анекдотисты желали бы – показывая еврея смешным – убедить идиотов, что он во все «не страшен»? Но разумеется – среди них есть выродки и негодяи народа своего.

Таких «анекдотистов» было, мне кажется, особенно много в восьмидесятих годах. Весьма славился Вейнберг-Пушкин, говорили, что он брат П. И. Вейнберга – «Гейне из Тамбова», отличного переводчика Генриха Гейне. Этот Вейнберг-Пушкин даже издал книжку или две очень глупых и бездарных «Еврейских анекдотов» или «Сцен из быта евреев». Мне нравилось слушать его рассказы, – рассказчик он был искусный, – и я ходил в Панаевский сад в Казани, где Вейнберг выступал на открытой эстраде. В то время я был булочником.

Однажды я пошёл туда с маленьким студентом Грейманом, очень милым человеком; он потом застрелился. Меня очень смешили шуточки Вейнберга, но вдруг рядом со мною я услышал хрипение, то самое, которое издаёт человек, когда его душат, схватив за горло. Я оглянулся – лицо Греймана, освещённое луною и красными фонарями эстрады, было неесте-

ственно: серо-зелёное, странно вытянутое, оно всё дрожало, казалось, что и зубы дрожали, – рот юноши был открыт, а глаза влажны и, казалось, налиты кровью. Грейман хрипел:

– Сволоч-чь... о, с-сволочь...

И, вытянув руку, поднимал свой маленький кулачок так медленно, как будто это была двухпудовая тяжесть.

Я перестал смеяться, а Грейман круто повернулся, нагнул голову и ушёл, точно бодая толпу зрителей. Я тоже тотчас ушёл, но не за ним, а в сторону от него и долго ходил по улицам, видя пред собою искажённое лицо человека, которого пытаются, и хорошо поняв, что я принимал весёлое участие в этой пытке.

Разумеется, я не забыл, что люди делают множество разнообразных гадостей друг другу, но антисемитизм всё-таки я считаю гнуснейшей из всех.

Горит здание окружного суда.

Уже провалилась крыша, внутри стен храпит огонь, жёлто-красная вата его лезет из окон, вскидывая в чёрное небо ночи бумажный пепел. Пожар не гасят.

Бешенством огня любятся человек тридцать зрителей. Чёрными птицами они стоят у старинных музейных пушек орудийного завода, сидят на длинных хоботах. В хоботах этих есть что-то глупое и любопыт-

ствующее; все они уклончиво, косо вытянуты в сторону Государственной думы, где кипит жизнь, куда свозят на автомобилях и ведут арестованных генералов, министров, куда тёмными кучами торопливо идут и бегут люди.

Молодой голос звонко кричит:

– Товарищи! Кто хлеба кусок обронил?

Около пушек ходит, как часовой, высокий, сутулый человек в бараньей, мохнатой шапке, лицо его закрыто приподнятым воротником овчинной шубы. Остановился, глухо спрашивает кого-то:

– Что же, значит решено судимость похерить? Наказания – отменяются, что ли?

Ему не отвечают. Ночь холодна. Скорченные фигуры жителей недвижимо, очарованно смотрят на огромный костёр в камнях стен. Огонь освещает серые лица, отражается в неживых глазах. Люди на пушках какие-то мятые, трёпаные, удивительно ненужные в эту ночь поворота России на новый, ещё более трудный, героический путь.

– Я говорю: преступники-то как же? Судов не будет, что ли?

Кто-то отвечает негромко, насмешливо:

– Не бойся, не обидят тебя, осудят.

И лениво тянется странная беседа ночных, ненужных людей:

- Судить – будут.
- Кто это поджёт?
- Судимые, конечно. Воры.
- Им – выгода...
- Вот такие, как этот...

Человек в мохнатой шапке говорит строго и громко:

– Я – не судимый, не вор, а суду этому сторож. Никого нет, а я – тут!

Сплюнув под ноги себе, он долго, тщательно шаркает по камню панели тяжёлой, кожаной галошей, растирая плевок, потом говорит:

– Я сомневаюсь: ежели решено простить всех, так это – рано. Сначала уничтожить надо всю преступность. Бумагу жечь, дома жечь – пустяки! Преступников искоренить надо сначала, а то опять начнём бумаги писать, суды, тюрьмы строить. Я говорю: сразу надо искоренить весь вред... Всю старинку.

Тряхнув головою, он добавил:

– Я вот пойду, скажу им, как надо...

Круто повернулся и пошёл по Шпалерной, к Думе; люди проводили его неясной, насмешливой воркотнёй, один из них засмеялся и стал кашлять бухающими звуками.

Этот человек был первый, который решительно выдвинул не от разума, а, видимо, от инстинкта своего лозунг:

– Надо всё искоренить.

Теперь, летом, речи на эту тему звучат всё твёрже и чаще.

Вчера, после митинга в Народном доме, бородатый солдат воодушевлённо, заикаясь и глотая слова, размышлял пред толпою человек в полсотни:

– Они чего говорят? Они опять то самое, через что погибаем. Нет, братья, дадимтя им всего; натя, пейтя, ешьтя, разговаривайтя промеж себя, а нам, народу, не мешайтя! Мы – сами. Мы, значится, положили выполоть всю сор-траву вашу, мы желам выкорчевать все пенья, коренья – во-от! Так ли?

Люди десятками голосов утвердили:

– Так. Верно.

– То-то. Им надо прямо сказать: отходи, господа, в сторону, не путай, не мешай. Пей, ешь, а нас – не тронь. Они говорят: опять наступай, опять воюй. Не-ет, братья, мы уж наступили друг дружке на животы, не-ет! Так ли?

Толпа почти единогласно согласилась:

– Так.

Заявления о необходимости коренной – социальной – революции раздаются всё громче, идут от массы. В массе возникает воля к самостоятельности, к жизни активной. Эта воля должна организовать её,

сделать политически зрячей.

«Вождам» не верят. На днях в цирке «Модерн» молодой парень, видимо шофёр, ловко играл созвучными словами «вожди» и «вожжи» – человек двести слушало его и одобряло смехом.

И с каждым днём жизнь принимает всё более серьёзный, строгий характер: всюду чувствуется напряжение её сил...